

КЛАЙВ СТЕЙПЛЗ ЛЬЮИС

ХРИСТИАНСТВО



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА*

УДК 27
ББК 86.37
Л91

Серия «Эксклюзивная классика»

C.S. Lewis

THE PROBLEM OF PAIN
MERE CHRISTIANITY
THE FOUR LOVES

Перевод с английского

И. Череватой («Просто христианство»),
Н. Трауберг («Любовь», «Страдание»)

Серийное оформление *Е. Фerez*

Компьютерный дизайн *А. Чаругиной*

Печатается с разрешения The CS Lewis Company Limited
при содействии издательства HarperCollins Publishers.

Сайт автора: www.cslewis.com

Льюис, Клайв Стейплз.

Л91 Христианство : [сборник] / Клайв Стейплз Льюис ;
[пер. с англ. И. Череватой, Н. Трауберг]. — Москва : Изда-
тельство АСТ, 2019. — 416 с. — (Эксклюзивная классика).

ISBN 978-5-17-115018-1

Клайв Стейплз Льюис (1898–1963) — выдающийся британский писатель, автор знаменитого цикла «Хроники Нарнии», суммарный тираж которого превысил 100 миллионов экземпляров. Однако Льюис также широко известен как автор философских работ о христианстве, в значительной мере отразивших его личный религиозный опыт. В подростковом возрасте Льюис отошел от веры под влиянием атеистических взглядов своего учителя, однако к 30 годам, теперь уже под влиянием университетского окружения и одного из лучших своих друзей — Джона Р.Р. Толкина, — вновь обратился в англиканскую веру. К концу жизни он начал склоняться к католицизму и принял последнее причастие по католическому обряду.

В сборник включены три классические работы Льюиса по апологетике христианства — «Просто христианство», «Любовь» и «Страдание». Клайв Стейплз Льюис одним из первых христианских философов XX века выдвинул смелую идею «экуменического христианства», не связанного с определенной конфессиональной принадлежностью. Истинная вера не имеет ничего общего с разногласиями различных ответвлений христианства, и именно в этом, по мнению Льюиса, заключается суть «просто христианства».

УДК 27
ББК 86.37

© C.S. Lewis, 1940, 1952, 1960

© Перевод. И. Череватая, 2017

© Перевод. Н. Трауберг, наследники, 2019

ISBN 978-5-17-115018-1

© Издание на русском языке AST Publishers, 2019

СТРАДАНИЕ

Посвящается инклингам¹

Сын Божий страдал до смерти
не для того, чтобы мы не страда-
ли, но для того, чтобы страдания
наши стали такими, как у Него.

*Джордж Макдональд.
Непроизнесенные проповеди*

Предисловие

Когда Эшли Сэмсон² предложил мне написать эту книгу, я попросил разрешения скрыть свое имя, так как мои призывы к мужеству насмешили бы тех, кто меня знает. М-р Сэмсон не согласился (в этой серии книг все пишут под своими именами), но посоветовал мне сообщить в предисловии, что я сам не придерживаюсь своих принципов. Это я и делаю. Одновременно признаюсь, что, говоря словами Уолтера Хилтона, в этой книге «я столь далек от того, о чем пишу, что могу лишь взывать к вашему милосердию»³. Вряд ли хоть один человек на

¹ «Inklings» в переводе с английского означает «намек». Инклингами именовали себя Льюис и компания его друзей-писателей. Джон Р. Р. Толкин, входивший в этот круг, писал об этом так: «...оно (слово «инклинги») было веселым изобретением, каламбуром, взятым себе за название людьми, склонными к неопределенным намекам и туманным идеям, которые они выражали при помощи чернил». Каламбур заключался в том, что английское слово «ink» (чернила) входит в состав слова «inkling» (намек).

² Эшли Сэмсон — издатель, заказавший Льюису «Страдание» для своей серии «Христианский зов». Сэмсон просил Льюиса, как новообращенного, только что написавшего христианскую аллегорическую повесть-притчу «Кружной путь, или Блуждания паломника», дать на этот раз христианскую интерпретацию страдания и боли. Льюис написал книгу меньше, чем за год.

³ Школа совершенства, I, XVI.

свете лучше защищен от недооценки страдания, чем я. Добавлю, что единственная цель книги — разрешить интеллектуальную проблему, которую ставит перед нами страдание. Я не так глуп, чтобы учить других терпению и силе, и мне нечего предложить читателю, кроме убежденности в том, что, если страдание неизбежно, капля мужества поможет больше, чем реки знаний, капля жалости больше, чем реки мужества, а любовь Господня — больше всего.

Настоящий богослов легко увидит, что писал эту книгу богослов ненастоящий. Везде, кроме двух последних глав, где я намеренно предлагаю собственные гипотезы, я, насколько мне известно, просто пересказываю старые и ортодоксальные доктрины. А любое новшество, если оно есть, прокралось сюда помимо моей воли, по моему неведению. Я всячески пытался не сказать ничего, во что не верят все христиане.

Поскольку это не ученый труд, я не всегда даю сноски и пояснения к цитатам. Любой богослов поймет и так, как мало я читал и что именно.

Модлин-колледж, Оксфорд

1940

Глава 1

Вводная глава

Ни один автор канонических книг не воспользовался природой для доказательства существования Бога.

Паскаль. Мысли

Если бы несколько лет назад, когда я еще был атеистом, меня спросили, почему я не верю в Бога, я ответил бы примерно так: «Посмотрите на мир, в котором мы живем. Почти весь он состоит из пустого, темного, немыслимо холодного пространства. В нем так мало небесных тел, и сами они так малы по сравнению с ним, что, даже будь они все населены счастливейшими существами, нелегко поверить, что сотворившая их сила имела в виду именно их счастье и жизнь. На самом же деле ученые считают, что планеты есть у очень немногих звезд (быть может, только у нашего Солнца), а в Солнечной системе населена, по-видимому, одна Земля. И более того, миллионы лет жизни на ней не было. Да и что это за жизнь? Все формы ее существуют, уничтожая друг друга. В самом низу это приводит к смерти, но выше, когда включены чувства, это порождает особое явление — боль. На самом же верху, у человека, есть еще одно явление — разум; он может предвидеть боль, предвидеть смерть, а кроме того, способен измыслить гораздо больше боли для других. Способностью этой мы воспользовались на славу. Человеческая история полна преступлений, войн, страданий и страха, а счастья в ней ровно столько, что, пока оно есть, мы мучительно боимся его потерять, когда же оно ушло — страдаем еще больше. Время от времени жизнь становится вроде

бы получше, создаются цивилизации. Но все они гибнут, да и при них принесенное ими облегчение вполне уравнивается новыми видами страданий. Вряд ли кто-нибудь будет спорить, что в нашей цивилизации равновесие это достигается, и многие согласятся, что сама она исчезнет, как все прежние. А если не исчезнет, что с того? Мы все равно обречены, весь свет обречен, ибо, как говорит нам наука, Вселенная станет когда-нибудь единообразной, бесформенной и холодной. Все сюжеты кончатся ничем, и жизнь окажется на поверку лишь мимолетной, бессмысленной усмешкой на идиотском лице природы. Я не верю, что все это сотворил добрый и всемогущий дух. Или такого духа нет вообще, или он безразличен к добру и злу, или он просто зол».

Одно не приходило мне в голову: я не замечал, что сама сила и простота этих доводов ставит новую проблему. Если мир так плох, почему люди решили, что его создал мудрый Творец? Быть может, люди глупы — но не настолько же! Трудно представить себе, что, глядя на страшный цветок, мы сочтем благим его корень или, видя нелепый и ненужный предмет, решим, что создатель его умен и умел. Мир, известный нам по свидетельству чувств, не мог бы стать основанием веры; что-то другое должно было породить ее и питать.

Вы скажете, что предки наши были темны и считали природу лучшей, чем считаем ее мы, знакомые с успехами науки. И ошибетесь. Людям давно известно, как чудовищно велика и пуста Вселенная. Вы читали, наверное, что в Средние века Земля казалась людям плоской, а звезды — близкими; но это неправда. Птолемей давно сказал, что Земля — математическая точка по сравнению с расстоянием до звезд, а расстояние это в одной очень старинной книге определяется в сто семнадцать миллионов миль. Да и раньше, с самого начала, другие, более явные вещи давали людям ощущение

враждебной бесконечности. Для доисторического человека соседний лес был достаточно велик и так же чужд и зол, как чужды и злы для нас космические лучи или остывающие звезды. Боль, страдание и непрочность человеческой жизни всегда были известны людям. Наша вера возникла среди народа, зажатого между великими воинственными империями, подвергавшегося нашествиям, уводимого в плен, познавшего трагедию побежденных, как Армения или Польша. Нелепо считать, что страдание открыла наука. Отложите эту книгу и подумайте пять минут о том, что все великие религии возникли и много веков развивались в мире, где не было наркоза.

Словом, в любое время трудно было выводить мудрость и благодать Творца из наблюдений над миром. Религия рождалась иначе. Сейчас я буду описывать *происхождение* веры, а не защищать ее самое — мне кажется, без этого нельзя поставить правильно вопрос о страдании.

Во всех развитых религиях мы обнаруживаем три элемента (в христианстве, как вы увидите, есть еще и четвертый). Первый из них — то самое, что профессор Отто называет «ощущением священного». Тем, кто не встречал этого термина, я его попытаюсь объяснить. Если вам скажут: «В соседней комнате — тигр», вы испугаетесь. Но если вам скажут, что в соседней комнате привидение, и вы поверите, вы испугаетесь иначе. Дело тут не в опасности — никто толком не знает, чем опасно привидение, — а в самом факте. Такой страх перед неизвестным можно назвать ужасом или жутью. Здесь мы касаемся каких-то границ «священного». Теперь представьте себе, что вам скажут просто: «В соседней комнате — могучий дух». Страх, чувство опасности будут еще меньше, смущение — еще больше. Вы ощутите несоответствие между собой и этим духом и даже пре-

клонение перед ним — то есть чувство, которое можно выразить словами Шекспира: «Мой дух подавлен им». Вот это и есть благоговейный страх перед тем, что мы назвали «священным».

Нет сомнений, что человек с очень давних времен ощущал мир как вместилище всяческих духов. Вероятно, профессор Отто не совсем прав, и духи эти не сразу стали вызывать «священный страх». Доказать это нельзя, ибо язык не различает толком страх перед священным и страх перед опасностью — мы и сейчас говорим, что «боимся привидений» и «боимся повышения цен». Вполне возможно, что когда-то люди просто боялись духов, как тигров. Несомненно и другое: теперь, в наши дни, «ощущение священного» существует, и мы можем проследить его далеко в глубь веков.

Если мы не слишком горды, чтобы искать примеры в детской книжке, прочитаем отрывок из «Ветра в ивах», где Крыс и Крот подходят все ближе к Духу Острова. «Крыс, — чуть слышно прошептал Крот, — а ты не боишься?» — «Боюсь? — переспросил Крыс, и глазки его засияли несказанной любовью. — Ну что ты! А все-таки... ой, Крот, я так боюсь!»

Продвинувшись на век дальше, мы найдем примеры у Вордсворта в замечательном отрывке из первой книги «Прелюдии», где он описывает свои ощущения от прогулки, еще дальше — у Мэлори, где сэра Галахад «задрожал, ибо смертная его плоть коснулась невидимого». В начале нашей эры мы прочитаем в Откровении, что Иоанн Богослов пал к ногам Христа «как мертвый». В языческой поэзии мы найдем у Овидия строку о месте, где «numen inest»¹; а Вергилий описывает дворец Латина, который «рощей... был окружен и священным считался издревле». В греческом фрагменте, приписы-

¹ Божество обитает (*лат.*).

ваемом Эсхилу, увидим слово о том, как море, земля и горы трепещут «под страшным оком своего господина». Продвинемся еще, и пророк Иезекииль скажет нам о небесных колесах, что «страшны были они» (Иез. 1:18), а Иаков, вставши ото сна, воскликнет: «Страшно сие место!» (Быт. 28:17).

Мы не знаем, как далеко можно было бы еще продвигаться. Самые древние люди почти наверное верили в вещи, которые вызвали бы такое чувство у нас, — и только в этом смысле мы и вправе сказать, что «ощущение священного» старо как человечество. Но дело не в датах. Дело в том, что когда-то, на какой-то ступени ощущение это возникло, и укоренилось, и не ушло, несмотря на весь прогресс науки и цивилизации.

Ощущение, о котором мы говорим, не порождено воздействием видимого мира. Вы можете сказать, что для древнего человека, окруженного бесчисленными опасностями, вполне естественно было измыслить неведомое и «священное». В определенном смысле вы правы — и вот в каком: вы сами человек, как и он, и вам легко представить, что опасность и затерянность вызовут в вас такое чувство. Нет ни малейших оснований полагать, что у другого вида сознания мысль о ранах, боли или смерти приведет к такому ощущению.

Переходя от телесного страха к «страху и трепету», человек прыгает в бездну; он узнает то, что не может быть дано в физическом опыте и в логических выводах из него. Научные объяснения сами нуждаются в объяснении — скажем, антропологи выводят вышеназванное чувство из «страха перед мертвыми», не открывая нам, почему такие безобидные существа, как мертвые, вызывают страх. Мы же подчеркиваем, что ужас и жуть находятся в совсем других измерениях, чем страх перед опасностью. Никакое перечисление физических ка-

честв не даст представления о красоте тому, кому она неведома, — так и тут: никакое перечисление опасностей не даст и малого представления о том особом чувстве, которое я пытаюсь описать. По-видимому, из него логически вытекают лишь две точки зрения: или это — болезнь нашей души, ничему объективному не соответствующая, но почему-то не исчезающая даже из таких полноценных душ, как души мыслителя, поэта или святого; или же это — ощущение действительных, но внеприродных явлений, которое мы вправе назвать Откровением.

Однако «священное» не то же самое, что «доброе», и одержимый ужасом человек, предоставленный самому себе, может подумать, что оно «по ту сторону добра и зла». Тут мы переходим ко второму элементу веры. Все люди, о которых есть хотя бы малейшее свидетельство, признавали какую-то систему нравственных понятий — о чем-то могли сказать «я должен», о чем-то «нельзя». Этот элемент тоже не может быть прямо выведен из простых, видимых фактов. Одно дело «я хочу», или «меня заставляют», или «мне выгодно», или «я не смею», и совершенно другое — «я должен».

Как и в первом случае, ученые объясняют этот элемент тем, что само нуждается в объяснении, — скажем (как знаменитый отец психоанализа), неким доисторическим отцеубийством. Отцеубийство породило чувство вины лишь потому, что люди сочли его злом. Нравственность тоже прыжок через пропасть от всего того, что может быть дано в опыте. Однако, в отличие от «страха и трепета», она обладает еще одной важной чертой: нравственные системы различны (хотя и не настолько, как думают), но все они до единой предписывают правила поведения, которых сторонники их не выполняют. Не чужой кодекс, а свой собственный осуждает человека, и потому все люди живут в ощу-

щении вины. Второй элемент религии — не просто осознание нравственного закона, но осознание закона, который мы приняли и не выполняем. Этого нельзя ни логически, ни как-либо иначе вывести из фактов опыта. Или это необъяснимая иллюзия, или — все то же откровение.

Нравственное чувство и «ощущение священного» так далеки друг от друга, что они способны очень долго существовать, не соприкасаясь. В язычестве сплошь и рядом почитание богов и споры философов никак между собой не связаны. Третий элемент религиозного развития возникает тогда, когда человек их отождествляет, — тогда, когда божество, внушающее трепет, воспринимается и как страж нравственности. Быть может, и это кажется нам естественным. Действительно, людям это свойственно; но «само собой» это никак не разумеется. Мир, населенный божествами, ведет себя совсем не так, как велит нам нравственный кодекс, — он несправедлив, безразличен и жесток. Не объяснит ничего и предположение, что нам просто хочется так думать, — кто захочет, чтобы нравственный закон, и сам по себе нелегкий, был облечен загадочной властью «священного»? Без сомнения, этот прыжок — самый удивительный, и не случайно сделали его не все; вненравственная религия и внерелигиозная нравственность существовали всегда, существуют и теперь. Наверное, лишь один народ совершил его полностью; но великие личности всех стран и времен тоже совершали его на свой страх и риск, и лишь они спасались от непотребства и дикости вненравственной веры или холодного самодовольства чистой морали. Логика не побуждает нас к этому прыжку, но что-то иное влечет к нему, и даже в пантеизме или язычестве нет-нет да и проступит нравственный закон; даже сквозь стоицизм проглянет какое-то почтение к Богу.

Быть может, и это — безумие, сопринордное человеку и почему-то приносящее прекрасные плоды. Но если это — Откровение, то поистине в Аврааме благословились племена земные, ибо одни евреи смело и полностью отождествили то страшное, что живет на черных вершинах гор и в грозовых тучах, с Господом *праведным*, Который «любит правду» (Пс. 10:7).

Четвертый элемент появился позже. Среди евреев родился Человек, Который назвал Себя Сыном страшного и праведного Бога. Более того, Он сказал, что Он и этот Бог — одно. Претензия эта так ужасна, так нелепа и чудовищна, что на нее могут быть только две точки зрения: или этот человек был безумцем самого гнусного рода, или Он говорил чистую правду. Третьего не дано. Если другие свидетельства о Нем не дают вам склониться к первой точке зрения, вы обязаны принять вторую. А если вы приняли ее, все, что утверждают христиане, станет возможным. Уже нетрудно будет поверить, что Человек этот воскрес, а смерть Его каким-то непостижимым образом изменила в лучшую сторону наши отношения со страшным и праведным Богом.

Спрашивая, похож ли видимый мир на творение мудро и доброго Создателя или, скорее, на что-то бессмысленное, если не злое, мы отмечаем все, что есть важного в религиозной проблематике. Христианство не выводится из философских споров о рождении Вселенной; оно — сокрушительное историческое событие, увенчавшее долгие века духовной подготовки. Это не система, в которую надо как-то втиснуть факт страдания; это — факт, с которым приходится считаться любым нашим системам. В определенном смысле оно не разрешает, а ставит проблему страдания — в страдании не было бы проблемы, если бы, живя в этом кишашем бедами мире, мы не верили в то, что последняя реальность исполнена любви.

Я постарался рассказать о том, почему вера представляется мне обоснованной. Логика к ней не понуждает. На любой ступени развития человек может взбунтоваться, в определенном смысле насилуя свою природу, но не погрешая против разума. Он может закрыть глаза и не видеть «священного», если он готов порвать с половиной великих поэтов, и со всеми пророками, и с собственным детством. Он может счесть вымыслом нравственный закон и отрезать себя от человечества. Он может не признать единства Божественного и праведного и стать дикарем, обожествляющим пол, или смерть, или силу, или будущее.

Что же до исторического Воплощения, оно требует особенно сильной веры. Оно до странности похоже на многие мифы — и не похоже на них. Оно не поддается разуму, его нельзя выдумать, и нет в нем подозрительной, априорной ясности пантеизма или ньютоновской физики. Оно произвольно и непредсказуемо, как тот мир, к которому приучает нас понемногу современная физика, мир, где энергия — в каких-то крохотных ступках, где скорость не безгранична, где необратимая энтропия придает направление времени, а Вселенная движется, как драма, от истинного начала к истинному концу. Если весть из самого сердца реальности способна достичь нас, ей вроде бы пристала та неожиданность, та упрямая сложность, которую мы видим в христианстве.

Да, в христианстве есть именно этот резкий привкус, именно этот призыв истины, не созданной нами и даже не созданной для нас, но поражающей нас, как удар.

Если, поверив этому чувству или другим, лучшим доводам, мы пойдем по пути, по которому ведут человечество, и сделаемся христианами, перед нами встанет проблема страдания.